

---

**Rizzi M.-J. Les russes à Menton: Un siècle et demi de présence russe à Menton et à Roquebrune Cap Martin.** — Menton: [S. n.], 2012. — 291 p.

**[Ризи М.-Ж. Русские в Ментоне: Полтора века русского присутствия в Ментоне и в Рокбрюн-Кап-Мартене.** Ментон: [Б. и.], 2012. — 291 с.]

Книга Мари-Жозе Ризи раскрывает неизвестные страницы истории русской диаспоры на Лазурном Берегу: русской колонии в Ницце были посвящены специальные, в том числе монографические, исследования<sup>1</sup>, в то время как тема «Русские в Ментоне» до сих пор не становилась предметом пристального изучения.

История русских в Ментоне, как и в Ницце, начинается в середине XIX в., когда в аристократических кругах после посещения Ниццы вдовствующей императрицей Александрой Федоровной в 1856 г. возникла мода на лечение от туберкулеза на Французской Ривьере. Русское благотворительное общество, основной задачей которого было оказывать помощь русским больным, приехавшим на лечение, было создано в Ментоне уже в 1862 г. при покровительстве великой княгини Анастасии Михайловны, а в 1903 г. оно было переименовано в Православное братство святой Анастасии. В марте 1892 г. обществом был открыт Русский дом, к нему примыкала церковь в честь иконы Пресвятой Богородицы «Всех Скорбящих Радость» и святителя Николая Чудотворца. Впоследствии помещение Русского дома стало тесным, и общество в 1908 г. построило новый дом, существующий и поныне, известный каждому коренному жителю Ментона. Совсем иная история Русского дома начинается после 1914 г., когда дом временно стал госпиталем для солдат, больных туберкулезом. После окончания войны Русский дом снова открылся в 1924 г. как социальный приют для малообеспеченных русских граждан, а затем, уже после Второй мировой войны, с 1947 г. стал старческим домом.

Книга состоит из трех частей. Первая часть посвящена памятникам архитектуры, имеющим прямое отношение к русскому присутствию в Ментоне: рус-

---

<sup>1</sup> См., напр.: *Герра А.* Прогулки по русской Ницце / Пер. с фр. Р. Герра. Париж, 1995; *Нечаев С.* Русская Ницца. М., 2008; *Носик Б.М.* Милая Франция: Ницца и окрестности. М., 2009; *Оболенский А., Свечин Л., Готье П.А.* Русские церкви в Ницце / Русск. текст и пер. А. Оболенского. Арль, 2010.

ская церковь иконы Богоматери «Всех Скорбящих Радость», построенная при кладбище в Ментоне в 1886 г.; Русский дом (Дом престарелых), две скульптуры работы Е.А. Лансере и памятник А.В. Луначарскому, который умер в Ментоне в 1933 г.; наконец, старое кладбище в Ментоне и кладбище в Рокбрюн-Кап-Мартен, где обрели последнее пристанище те, кому не суждено было вернуться на родину. Так, на кладбище в Рокбрюне похоронен великий князь Александр Михайлович (1866–1933) и его супруга, великая княгиня Ксения Александровна (1875–1960), сестра Николая II, которая в последние годы жизни каждое лето проводила несколько дней на вилле Святой Терезы в Ментоне.

Вторая часть работы носит исторический характер и посвящена хронологии русского присутствия в Ментоне на основании документов Православного общества святой Анастасии.

В третьей части автор подробно останавливается на истории нескольких русских семей в Ментоне: семьи великого князя Александра Михайловича, семей Мазировых, Никольских, Чириковых, семьи российского вице-консула в Ментоне Н.И. Юрасова, семьи последнего морского министра Российской империи адмирала Ивана Григоровича, семьи доктора С.П. Боткина и др.

*С.Н. Дубровина*

---

**Анненкова И.В. Неизгнанная мысль: Филология П.М. Бицилли** / Факультет журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова. — М.: Изд-во Московского ун-та, 2011. — 148 с.

Отдельных изданий, посвященных медиевисту, историку и филологу русского зарубежья Петру Михайловичу Бицилли (1879–1953), в России пока не было. Речь идет именно о рецепции, концептуальном прочтении обширного научного наследия Бицилли, а не об очередном переиздании его трудов. Поэтому книга И.В. Анненковой «Неизгнанная мысль: Филология П.М. Бицилли» — явление долгожданное для читателей и исследователей, интересующихся наследием этого выдающегося гуманитария-энциклопедиста и оригинального русского мыслителя. Если учесть, что автор книги оказался первопроходцем в деле возвращения трудов Бицилли на родину как составитель и комментатор фундаментального издания П.М. Бицилли «Избранные труды по филологии» (М.: Наследие, 1996), то авторитет монографии представляется очевидным. Есть и еще один важный факт, привлекающий внимание к этой книге: автор обращается к наименее исследованной до сих пор сфере научных интересов профессора: к его лингвокультурологии. До сих пор внимание исследователей привлекали работы Бицилли в области медиевистики, исторических исследований и литературоведения.

Проблемам языка Бицилли посвятил внушительное количество работ: «В защиту русского языка» (1927), «Наследие империи» (1927), «Вопросы русской языковой культуры» (1928), «Нация и язык» (1929), «Язык и народность. (К вопросу об образовании литературного языка)» (1932), «К вопросу о характере русского языкового и литературного развития в новое время» (1936), «Заметки о роли фольклора в развитии современного русского литературного языка и русской литературы» (1944), «Заметки о некоторых особенностях русского литературного языка» (1953) и др. П.М. Бицилли (вслед за Гумбольдтом) называл язык душой нации и видел в общности языка залог национального единства. «С момента создания литературного языка ученый начинал отсчет истории сформировавшейся *нации*», — подчеркивает автор книги (с. 68). Таким образом, идеи Бицилли в области исторической науки, теории литературы и литературной критики тесно переплетены с его лингвокультурологическими и социолингвистическими изысканиями, берут оттуда свои истоки.

Обращает на себя внимание хронология появления этих работ, — все они были написаны уже в эмиграции, за пределами России. Первой публикацией, посвященной непосредственно языковым проблемам, можно считать статью с символическим названием «В защиту русского языка» (Звено. 1927. № 5. С. 262–267)<sup>1</sup>. Этой статьей Бицилли вступил в полемику с кн. С.М. Волконским — спор шел о подвижности языковой нормы, о той границе, где языковая норма в своей консервативной непримиримости перечеркивает творческую свободу и где, напротив, подвергаясь бесконечным изменениям, перестает быть хранителем языковой культуры. В сущности, это был вопрос о путях исчезновения литературного языка и о путях преодоления возможного кризиса. Как сохранить русский язык, помещенный в иноязычную среду, как сохранить в безвоздушном пространстве свою национальную идентичность и литературу? Какие найти механизмы сопротивления объективным процессам размывания национальной культуры? То, что эти вопросы встали перед русской эмиграцией во всей своей остроте и глобальности, во многом объясняет поистине подвижническую работу Бицилли как лингвокультуролога в русском зарубежье. И если автор книги напрямую не указывает на значение «эмигрантского контекста» появления этих работ, то всем своим исследованием к этому заключению подводит. Лишенный внешней живой среды, язык «вне России» терял свою органичную подвижность, «замирал», — именно на эту угрозу указывал в полемике с кн. С.М. Волконским П.М. Бицилли. Размывание языковой нормы происходило и в советской России в силу иных причин, как следствие крайне «динамичного», агрессивного социального эксперимента. От себя заметим, что огромный интерес Бицилли к творчеству Михаила Зощенко, вылившийся в ряд блестящих статей, безусловно, не случаен. Проза Зощенко гениально отреагировала на «обрушение» культуры речи и языковой нормы в пореволюционной России, на появление несметного количества слов-монстров, поглотивших, казалось бы, столь устойчивые нормы, прописанные классической русской литературой. Излишне говорить, насколько сегодня актуальны идеи и труды Бицилли, посвященные проблемам языка. На это указывает сам автор книги, замечая, что «ценность этих работ особенно возрастает в наше время» (с. 25), и разделяет предложенные ученым пути сопротивления деградации языковой культуры: «Остается только следовать совету самого П.М. Бицилли: обращаться к вечно живым образцам русского национального языка — к классикам» (с. 64). Исследование И.В. Анненковой последовательно обращается к лингвокультурологии и социолингвистике П.М. Бицилли, к работам филолога, посвященным культуре речи и языковой норме, к его взглядам на историю русского литературного языка, а также к его стилистической концепции. Проведенный автором добросовестный анализ изысканий П.М. Бицилли в области взаимоотношения языка и культуры, безусловно, восполняет значительный пробел в комплексном изучении его наследия.

<sup>1</sup> Эту статью мы называем первой в ряду других статей, посвященных языковым проблемам, с некой долей условности. Одной из первых работ по филологии стали «Этюды о русской поэзии» (1926), на которые обратили пристальное внимание Г. Адамович, В. Вейдле, М. Гофман, М. Цетлин, Р. Якобсон и др.

По признанию автора, книга задумывалась 20 лет назад, когда имя выдающегося ученого было известно только узкому кругу специалистов и практически неизвестно широкому читателю. Возможно, этот временной люфт повлиял на ряд утверждений автора книги, которые представляются нам неточными. Перечень указанных автором отечественных исследований, изданий и публикаций, посвященных творчеству П.М. Бицилли, — «несколько публикаций о нем и его трудов в различных сборниках и журналах, два отечественных издания избранных трудов и две защищенные кандидатские диссертации (по историко-культурной концепции <...> и по проблематике индивидуальности)» (с. 5) — должен быть сегодня значительно пополнен. Помимо упомянутых автором изданий<sup>2</sup>, назовем комментированные издания работ П.М. Бицилли по медиевистике, подготовленные Б.С. Кагановичем, сопроводительные статьи к которым дают глубокий анализ исторического и интеллектуального контекста его научных исканий<sup>3</sup>, а также отдельную главу «Петр Михайлович Бицилли» из его монографии о русских медиевистах<sup>4</sup>. Беспрецедентным исследованием стала обширная, исчерпывающая статья биографического характера М.А. Бирмана «П.М. Бицилли (1879–1953). Штрихи к портрету ученого», где введены в научный оборот многочисленные архивные источники, проливающие свет на малоизвестные периоды в биографии ученого; эта статья была опубликована во внушительном издании работ Бицилли «Избранные труды по средневековой истории: Россия и Запад»<sup>5</sup>. Количество защищенных в России диссертаций, связанных с именем П.М. Бицилли, конечно, больше, чем две, хотя, согласимся, их все же немного<sup>6</sup>. Изучению системы взглядов Бицилли как медиевиста, историка, филолога и культуролога посвящены сегодня десятки статей и публикаций. Включенность идей Бицилли в современную научную мысль, кроме тонко подмеченных И.В. Анненковой параллелей с концепциями Ю.Н. Караулова и Г.Д. Гачева («без апелляции к его имени»), находит прямое подтверждение в работах А.П. Чудакова. С.Г. Бочарова, В.А. Подороги и др. Возможно, в силу указанного автором временного люфта между замыс-

<sup>2</sup> *Бицилли П.М. Избранные труды по филологии / Сост., подгот. текста и коммент. В.П. Вомперского и И.В. Анненковой. М.: Наследие, 1996; Он же. Трагедия русской культуры: Исследования, статьи, рецензии / Сост., вступ. ст., коммент. М. Васильевой. М., 2000.*

<sup>3</sup> *См.: Он же. Элементы средневековой культуры / Предисл. Б.С. Кагановича, коммент. А.Г. Федорова, Ю.Ю. Гудыменко. СПб., 1995; Он же. Место Ренессанса в истории культуры / Сост., предисл. и коммент. Б.С. Кагановича. СПб., 1996.*

<sup>4</sup> *Каганович Б.С. Русские медиевисты первой половины XX века. СПб., 2007. С. 161–230.*

<sup>5</sup> *См.: Бицилли П.М. Избранные труды по средневековой истории: Россия и Запад / Сост. Ф.Б. Успенский; отв. ред. М.А. Юсим. М., 2006. С. 633–720.*

<sup>6</sup> Помимо указанных в книге И.В. Анненковой диссертаций Н.И. Ашуровой «Культурно-историческая концепция П.М. Бицилли» (Дисс. ... канд. ист. наук. Томск, 2004) и автора этих строк «Проблематика индивидуальности» в трудах П.М. Бицилли (Дисс. ... канд. ист. наук. М., 2009), нам хотелось бы упомянуть диссертации А.А. Морозова «Русская медиевистика в эмиграции. (Л.П. Карсавин, П.М. Бицилли, Н.П. Отгокар)» (Дисс. ... канд. ист. наук. Омск, 2001) и М.Н. Рудмана «Концепция исторического синтеза в творчестве Л.П. Карсавина и П.М. Бицилли» (Дисс. ... канд. ист. наук. Казань, 2002). Большим вкладом в изучение наследия Бицилли-медиевиста стали кандидатская и докторская диссертации Б.С. Кагановича «Петербургская школа медиевистики в конце XIX — начале XX века» (Дисс. ... канд. ист. наук. Л., 1986), «Русские историки западного Средневековья и Нового времени. (Конец XIX — первая половина XX в.)» (Дисс. ... докт. ист. наук. СПб., 1995).

лом и воплощением книги приложенная в конце издания библиография трудов П.М. Бицилли, повторяя во многом библиографию замечательного издания 1996 г.<sup>7</sup>, значительно уступает «Библиографии опубликованных работ П.М. Бицилли», — наиболее полной и выверенной на сегодняшний день<sup>8</sup>. На наш взгляд, пессимистический вывод автора о том, что в осмыслении трудов Бицилли «наступило некое затишье» (с. 6), несколько противоречит реальному положению дел. Так, недавняя публикация переписки П.М. Бицилли с редакцией «Современных записок», проливающая свет на историю отношений редакторов самого известного журнала русского зарубежья с его постоянным и, пожалуй, самым активным автором и включающая обширный корпус писем (128) с обстоятельными комментариями и вступительной статьей, снова подтверждает неубывающий интерес к наследию П.М. Бицилли<sup>9</sup>. Еще одним событием стала долгожданная публикация содержательной переписки И.А. Бунина и П.М. Бицилли из фондов ИРЛИ РАН (Пушкинский Дом) и Русского архива в Лидсе<sup>10</sup>. Конечно, говорить о появлении дисциплинарной науки о П.М. Бицилли пока рано, но она неуклонно движется к своему становлению от углубленного текстуального знания до аналитического осмысления, и книга И.В. Анненковой тому подтверждение.

*М.А. Васильева*

---

<sup>7</sup> Бицилли П.М. Избранные труды по филологии. С. 673–692.

<sup>8</sup> Горяинов А.М., Бирман М.А. Библиография опубликованных работ П.М. Бицилли и литература о нем, 1912–2003. Труды П.М. Бицилли // Бицилли П.М. Избранные труды по средневековой истории: Россия и Запад. С. 733–778.

<sup>9</sup> «Современные записки» все ближе и ближе подходят к тому, чего я лично хотел от них»: П.М. Бицилли / Публ. и примеч. М.А. Бирмана и М. Шрубы; вступ. ст. М.А. Бирмана // «Современные записки» (Париж, 1920–1940): Из архива редакции: В 4 т. / Под ред. О. Коростелева и М. Шрубы. М., 2012. Т. 2. С. 479–646.

<sup>10</sup> Переписка И.А. Бунина и П.М. Бицилли (1931–1951) / Вступ. ст. Т. Двинятиной; публ. Т. Двинятиной и Р. Дэвиса // И.А. Бунин: Новые материалы. Вып. 2 / Сост., ред. О. Коростелев и Р. Дэвис. М., 2010. С. 109–178.

---

**Figures de l'émigré russe en France au XIXe et XXe siècle: Fiction et réalité** / Sous la direction de Ch. Krauss et T. Victoroff. — Amsterdam; N. Y.: Rodopi, 2012. — 525 p.

**[Образы русского эмигранта во Франции в XIX и XX вв.: Вымысел и реальность** / Под ред. Ш. Краусс и Т. Викторовой. — Амстердам; Нью-Йорк: Rodopi, 2012. — 525 с.]

В основу сборника статей положены материалы конференции «Образы русского эмигранта во Франции в XIX и XX вв.», прошедшей в Страсбургском университете 30 сентября — 1 октября 2009 г. В сборник вошли тридцать одна статья ученых из Франции, Швейцарии, Великобритании и России.

Первую часть сборника, озаглавленную «Введение», открывает статья Никиты Струве «Три волны русской эмиграции», в которой история семьи Катуар-Струве, в XIX в. эмигрантов из Франции и из Англии в Россию, а после 1917 г. наоборот, из России во Францию, предваряет историю трех волн русской эмиграции в XX в. Статья Андрея Корлякова, известного собирателя фотоархива русской эмиграции, «Великий русский исход, 1917–1939» богато проиллюстрирована фотографиями из жизни русских эмигрантов: с момента их отъезда из Одессы и далее — через Галлиполи к финальной точке долгого пути, «милей Франции». Работа Элен Менегальдо дает представление о русском эмигранте глазами французов, о тех устойчивых стереотипах, сложившихся во французском обществе и в самой эмигрантской среде, которые, в частности, воплотились на страницах французской литературы конца XIX — первой трети XX в. Доминик Десанти, на четверть русская по отцу, в 1930-е гг. была вхожа в художественные круги русской эмиграции, была знакома с Борисом Зайцевым, Дмитрием Мережковским и Зинаидой Гиппиус, встречалась с Куприным до его отъезда в Россию. В своей статье Доминик Десанти воссоздает «другую жизнь» русских эмигрантов, которой она, будучи подростком, оказалась свидетелем.

Вторая часть сборника посвящена «образам русского эмигранта во Франции в XIX веке»: как русским образам во французской литературе, имеющим или нет реальные прототипы (статья Шарлотты Краусс «Опасные прелести русской эми-

грантки во французской художественной литературе от Бальзака до Лорэна», Мишеля Кадо «Генерал Дуракин графини де Сегюр и князь Норонсов Жана Лорэна», Элеоноры Реверзи «Роль революционера. Суварин в “Жерминале” Золя», Жан-Пьера Рикара «От боярина к чужаку. Метаморфозы стереотипа во французском популярном романе конца XIX столетия»), так и жизни и творчеству русских эмигрантов во Франции в XIX в. (статьи Ив-Мишеля Эргалья и Мари-Жозе Стриш «Урожденная Ростопчина. Графиня де Сегюр», Франсуазы Женеврэ «Герцен в Париже (1847–1850)», Даниэль Бон-Грэ «Александра Гольштейн (1850–1936). Идеологическая литература 1870-х годов в зеркале эмиграции», Веры Мильчиной «Новые Замогильные записки. Роль книги Шатобриана в творчестве русского эмигранта Владимира Печерина»).

Самый плодотворный период русской эмиграции во Франции — 1920–1930-е гг., и его отражение в зеркале французской культуры представлены в третьей и четвертой частях сборника: «Первая волна русской эмиграции: перекрестный взгляд» и «Женские голоса первой волны русской эмиграции».

Две статьи третьей части посвящены творчеству Поля Морана, французского писателя, в 1920-х гг. несколько раз посещавшего советскую Россию с дипломатическими миссиями, хорошо знакомого с русским Парижем: Мартина Штембергер рассказывает о «сложной игре стереотипов, игре отражений, игре со взглядом другого» в произведениях Морана; Николай ди Мео концентрирует свое внимание на сатирическом и даже карикатурном облике, в котором предстают многие морановские персонажи-эмигранты.

Один из наиболее частотных эмигрантских образов во французской литературе 1920–1930-х гг. — образ русской аристократки. Стереотип русской княгини во французском театре этой эпохи на примере двух пьес, «Великая княгиня и коридорный» (1924) Альфреда Савуара и «Товарищ» (1935) Жака Деваля, рассматривает в своей статье Синтия Эварист.

Статью Александра Бурмейстера о «Русском эмигранте “безумных годов” в творчестве Жозефа Кесселя» предваряет краткая хронология жизни Кесселя, полной приключений и путешествий. Писателя, как считает автор статьи, нельзя отнести к среде эмигрантов, но скорее можно назвать его «сторонним наблюдателем» (с. 282). А. Бурмейстер прослеживает истоки зрелого творчества Кесселя 1960–1970-х гг. в его первых репортажах, в рассказах о русской революции, в романе «Княжеские ночи» (1927), отразившем «образ эмиграции, погруженной в отчаянье и выживающей русским “пиром во время чумы”» (с. 279).

Светлана Мэр в работе «Шмелев — эмигрант» анализирует романы «Лето Господне» и «Богомолье», выявляя эмигрантские темы в этих главных произведениях писателя: «...ностальгия, память, “русскость” и мессианское предназначение» (с. 251).

Жервез Тассис («Автопортрет парижского писателя-эмигранта. Романы Юрия Фельзена») считает Юрия Фельзена одним из самых интересных писателей «незамеченного поколения». Исследователь подчеркивает, что Володя, главный герой романов «Обман», «Счастье», «Письма о Лермонтове», — писатель, alter ego автора, размышляющий о роли литературы в эмиграции. Фельзен открывает, таким



образом, тему «писатель и эмиграция» до Набокова в его романе «Дар»: «Все, что следует сказать о роли писателя в нелепой и страшной нашей современности, — приводит Ж. Тассис цитату из статьи Фельзена «Прописи», — вдвойне применимо к литературе эмигрантской: эмиграция — жертва несвободы и, по своему первоначальному замыслу, как бы символ борьбы за живого человека и невозможности примириться с теми, кто его умерщвляют, ее литература должна с удвоенной силой эту “идею эмиграции” выразить, должна оживлять души, защищать человека и любовь...» (с. 307).

Статья Аньес Эдель-Руа «Набоковское преодоление французской ссылки» посвящена «французским» годам в жизни писателя — не только с 1937 по 1940 г., когда Набоков с семьей жил на Лазурном Берегу и в Париже, но начиная с октября 1929 г., когда в «Современных записках» была опубликована первая часть романа «Защита Лужина». Поиски Набоковым своей идентичности как писателя, считает автор статьи, глубоко связаны с его ощущением себя как вечного эмигранта, испытанным еще в детстве, задолго до момента эмиграции исторической, а также со стремлением писателя «возвести фигуру эмигранта до образа человека вообще» (с. 313). А. Эдель-Руа подробно останавливается на «западничестве» Набокова-Сирина, на неоднозначном отношении к его творчеству парижской эмиграции, о французской рецепции первых набоковских текстов в 1930-е гг.

В четвертой части, «Женские голоса первой волны русской эмиграции», представлены работы, посвященные различным аспектам творчества Зинаиды Гиппиус, Надежды Тэффи, Екатерины Бакуниной, Нины Берберовой, Ирэн Немировски и Зинаиды Шаховской.

«Феномен эмиграции в художественном творчестве Зинаиды Гиппиус» рассматривает в своей статье Ольга Блинова. Автор обращает внимание на тот факт, что первая критическая работа Гиппиус, посвященная проблемам эмиграции, появилась в декабре 1921 г. («Мы больны»), в то время как первый рассказ, затрагивающий тему эмиграции, был опубликован только в январе 1932 г. («Как ему повезло»). В своей работе Ольга Блинова анализирует несколько рассказов Гиппиус 1930-х гг. и выявляет причину десятилетнего разрыва между первым журналистским и первым художественным текстом на тему эмиграции: одновременно с потерей надежды на возвращение в Россию деятельность актуальная, в угоду настоящему моменту, уступает место «созданию летописной эмигрантской хроники» (с. 333).

Разнообразие стилистических приемов в творчестве Надежды Тэффи эмигрантского периода составляет объект исследования Сони Филоненко («Надежда Тэффи. Существование эмигранта в речевом преломлении»): неологизмы, заимствованные выражения, повторы, противопоставления и др.

Среди писателей-эмигрантов «незамеченного поколения» фигура Екатерины Бакуниной — одна из наименее известных. Тем не менее ее романы «Тело» (1933) и «Любовь к шестерым» (1935) вызвали после публикации живую реакцию эмигрантской критики, которая зачастую отказывалась считать эти произведения «литературой». Анник Морар, автор статьи «Екатерина Бакунина в поисках “я-субъекта”», считает, что творчество писательницы заслуживает литературо-

ведческого анализа уже в силу своей маргинальности. На примере двух упомянутых романов Анник Морар изучает тип персонажа, образ эмигранта, а также модальность текстов — монологическое повествование (от первого лица), которое предоставляет автору возможность самоидентификации вне табу и ограничений, накладываемых обществом.

Гаянэ Армаганиян-Ле Вю в статье «Образы эмигранта в творчестве Берберовой» прослеживает трансформацию фигуры русского эмигранта от типизованного персонажа в первых рассказах Нины Берберовой («Биянкурские праздники») до более глубокого понимания ситуации эмиграции как тотального отчуждения человека от социума и от самого себя в ее поздней прозе («Черная болезнь», «Мыс бурь», «Рассказы в изгнании» и др.), что приближает, по мнению автора статьи, творческие поиски Берберовой к литературе европейского модернизма, для которого понятие отчуждения является центральным.

У истоков творчества франкоязычной писательницы Ирэн Немировски, как и в случае Жозефа Кесселя, — три культурных традиции: русская, еврейская и французская. На книги Ирэн Немировски, трагически погибшей в Аушвице в 1942 г. в возрасте 39 лет, писали рецензии Анри де Ренье, Андре Моруа, Бенжамен Кремье и Марсель Прево. Современники писательницы отмечали удачное соединение в ее творчестве славянского интеллектуализма и французской ясности изложения и четкости композиции. Образы эмигрантов в творчестве Немировски анализирует в своей работе Мария Рубенс, прослеживая, как «гротескные, стереотипные, односторонние персонажи постепенно уступают место героям со сложным внутренним миром» (с. 377).

Тему «русского европеизма» развивает в своей статье Ольга Корчевская на примере малоизвестного романа Зинаиды Шаховской «Запасной выход», опубликованного в 1952 г. под псевдонимом Жак Круазе. Автор статьи развивает тезис о драматической ситуации эмигрантских писателей младшего поколения, «промежуточного положения между двух культур».

В последнюю часть сборника «Новые поколения и отголоски творчества русских эмигрантов» вошли статьи о русских эмигрантах второй половины XX в.: работа Сесиль Весийе об эмигрантской теме в творчестве Виктора Некрасова до его отъезда из СССР и об изменении взгляда на эту тему после эмиграции писателя в Швейцарию и затем во Францию; статья Жан-Пьера Мореля о месте Франции в творчестве Андрея Тарковского, об отражении творческих связей с французской культурой в его «Дневниках 1970–1986 гг.»; статья Клода де Грева о той роли, которую играли русские эмигранты в формировании нового взгляда французской критики на русскую классическую литературу на примере творчества двух критиков — Бориса Шлецера и Павла Евдокимова; работа Ольги Ушаковой «Английские связи русских эмигрантов».

Жорж Нива («Солженицын, или “Русский чертополох”») пишет о понимании феномена эмиграции Александром Солженицыным на разных этапах его творческого пути. На раннем этапе творчества вопрос об эмиграции ставится писателем скорее как вопрос о «предательстве-патриотизме» (с. 432): в пьесе «Пир победителей», в «Архипелаге ГУЛАГ». Внутренняя полемика с Герценом приводит А. Сол-

женицына к размышлению о «новых декабристах» (пьеса «Пленники»). Наконец, вынужденная эмиграция позволяет писателю по-новому взглянуть на проблему: он встречается с представителями первой волны эмиграции, образы эмигрантов появляются на страницах «Красного Колеса». Сложное, неоднозначное отношение писателя к эмиграции связано, считает ученый, с тем, что «у Солженицына все подчинено единой цели — бороться против Зла и спасти Россию от нее самой. Отсюда и жесткость некоторых его суждений» (с. 440).

Татьяна Викторова в статье «“Мне голос был...” Диалог Анны Ахматовой с эмигрантами» открывает новый взгляд на тему эмиграции и трансформацию образа эмигранта в творчестве поэта с 1917 г. и до поездок А. Ахматовой в Европу в 1960-е гг.: эмиграция как искушение (образ жены Лота) постепенно сменяется «сочувствием к изгнаннику» в образе Данте, ушедшего из родной Флоренции, не обернувшись. Эвакуация в Ташкент во время блокады Ленинграда, пережитая А. Ахматовой как временная эмиграция, и затем возвращение в пустой, мертвый город примирают для поэта два этих образа: вопрос о верности родному языку, родной стране звучит теперь в экзистенциальных терминах, как вопрос о верности своему призванию, «какова бы ни была траектория в пространстве и времени, навязанная человеку судьбой» (с. 487).

С.Н. Дубровина

---

**Токарев Д. «Между Индией и Гегелем»: Творчество Бориса Поплавского в компаративной перспективе.** — М.: Новое литературное обозрение, 2011. — 352 с. — (Научная библиотека).

Творчества Бориса Поплавского, одного из самых загадочных и парадоксальных поэтов «незамеченного поколения», продолжает привлекать к себе исследователей: Дмитрий Токарев подробно рассмотрел наследие поэта через призму компаративистики. Автор начинает ни много ни мало с дискуссии с Владиславом Ходасевичем. Вернее, с его знаменитым отзывом о поэзии Поплавского: «Она родственна музыке не в смысле внешнего благозвучия, но в том смысле, что внелогична и до самой своей глубины формальна. Можно было бы сказать, что она управляется не логикой, а чистой эйдологией (прошу прощения за “страшное слово”, некогда перепугавшее Максима Горького: оно означает систематику образов)» (с. 8). Исследователь отталкивается от этого мнения как от отправной точки для размышлений, сразу кардинально углубляя проблему до «проблематики взаимоотношений идеи, образа и слова» (с. 8). То есть с самого начала речь в книге идет не только и не столько о компаративистике, о заимствованиях, влияниях и текстовых перекличках, сколько о самом характере творчества, о таинственном процессе претворения идеи (в ее связи с импульсом, идущим в том числе и от «духа музыки») в образ (у Поплавского часто визуальный, сразу отсылающий к живописи), в систему образов, в композицию, в нарратив. Исследователя интересует не статика, а именно динамика творческого процесса, он словно всматривается в тайну творчества одного из самых таинственных поэтов. Причем сразу берутся во внимание философские идеи самого поэта об образе и духе музыки, о связи поэзии с музыкой и живописью, — берутся в философском контексте, характерном для самого Поплавского, куда входят и Платон, и Гегель, и Шеллинг, и русский символизм, и мистическая литература самого разного рода.

Книга рассчитана в первую очередь на специалистов: горизонт литературных связей, переклички с живописью, философией и мистикой не показаны объемно и всесторонне. Автор лишь упоминает те параллели, которые очевидны или уже были показаны исследователями, например Е. Менегальдо. Так, за скобками остаются переклички текстов Поплавского с поэзией А. Блока, с живописью

М. Шагала, с индуистской или испанской католической мистикой. В книге и не ставится цель всестороннего охвата компаративистского горизонта. Исследователя интересуют те влияния, которые помогают проследить творческую лабораторию Поплавского, путь от зарождения идеи до ее претворения в произведении и сам характер такого претворения. С этой целью последовательно Д. Токарев рассматривает поэтическую эволюцию Б. Поплавского, затрагивая вопросы его отношения к «автоматическому письму» сюрреалистов и характер поэтического «Ты» в его произведениях; анализирует дневниковый дискурс поэта в контексте исповедальных мотивов его прозы как «романа с Богом»; фиксирует некоторые из «мистических» переключек в творчестве Поплавского, отмечая «следы» А. Рембо, Э. По и мистики Каббалы. Затем рассматриваются текстуальные переключки литературного (А. Рембо, П. Валери, С. Малларме, Н. Гоголь) и живописного (Рембрандт, Дж. де Кирико, А. Ватто) характера, причем в самых разных аспектах, вплоть до иронического обыгрывания.

Автор метко подмечает одну из «тайн» художественной лаборатории поэта, который легко «жонглирует» широким спектром идей и образов, не столько цитируя или ссылаясь на них, сколько претворяя их в составные части своего собственного мировоззрения: «Поплавский обращается к чужому образу не для того, чтобы воспроизвести его, а для того, чтобы — за счет сопоставления его с другими образами — раскрыть его смысловой потенциал или, точнее, его тайну, которая в понимании поэта не может не иметь религиозных коннотаций» (с. 300).

Книга Дмитрия Токарева дает хороший импульс для новых исследований как творчества Поплавского, так и самой тайны творчества, таинственной связи мысли и образа.

*Н.В. Ликвинцева*

---

**Garziano S. La poétique autobiographique de Vladimir Nabokov dans le contexte de la culture russe et occidentale /** Préf. de J.-C. Lanne. — Lyon: Centre d'Études Slaves André Lirondelle: Université Jean Moulin Lyon 3, 2012. — 698 p.

**[Гарциано С. Автобиографическая поэтика Владимира Набокова в контексте русской и западноевропейской культуры /** Предисл. Ж.-К. Ланна. — Лион: Центр славянских исследований Андре Лиронделя: Университет Лион 3 имени Жана Мулена, 2012. — 698 с.]

Набоковедение во Франции имеет свою традицию. Первая конференция в Париже, посвященная творчеству писателя, прошла в 1992 г., по ее материалам был издан сборник статей «Владимир Набоков и эмиграция» (серия «Тетради русской эмиграции»)<sup>1</sup>, в который вошли не только биографические, документальные исследования, но и работы, в которых ситуация эмиграции изучалась как сама природа его искусства. Следующие конференции прошли в 1996 г. («Владимир Набоков-Сирин: европейские годы») и юбилейная, в 1999 г. («Владимир Набоков в зеркале XX века»); сборники статей также были изданы Институтом славянских исследований<sup>2</sup>.

В последнее время интерес к творчеству В.В. Набокова во Франции постоянно растет, свидетельством чему является возникновение в 2011 г. новой ассоциации — Французского общества Владимира Набокова<sup>3</sup> во главе с признанным специалистом, автором нескольких монографий, посвященных творчеству писателя, Морисом Кутюрье (почетный президент).

Фундаментальное исследование Светланы Гарциано, в основу которого положена докторская диссертация «Автобиографическая поэтика Владимира

---

<sup>1</sup> Vladimir Nabokov et l'émigration / Sous la dir. de N. Buhks. Paris, 1993. (Cahiers de l'émigration russe; 2).

<sup>2</sup> Vladimir Nabokov-Sirine: les années européennes. Paris, 1999. (Cahiers de l'émigration russe; 5); Nabokov dans le miroir du XXe siècle / Sous la dir. de N. Buhks. Paris, 2000. (Revue des études slaves. Vol. 72).

<sup>3</sup> Société Française Vladimir Nabokov. URL: <http://www.vladimir-nabokov.org> (дата обращения 10 декабря 2012 г.).

Набокова в контексте русской и западноевропейской культур» (Университет Лион 3, 2009), посвящено наименее изученной области творческого наследия Набокова: жанру автобиографии. Автобиографическая проза Набокова чаще всего служит литературоведам источником фактов биографии писателя. В то же время факты и вымысел в творчестве писателя очень тесно переплетаются, поэтому исследование автобиографической поэтики В. Набокова становится самоценной задачей, предполагающей сравнительное изучение в контексте русской автобиографической традиции XIX в., русской литературы Серебряного века, европейской культурной традиции, а также анализ становления автобиографических текстов, учитывая феномен мультилингвизма автора (с. 12). Для решения этой сложной задачи автор исследования применяет не только литературоведческие, но и лингвистические методы, а также методы философского анализа.

Главная для понимания автобиографической поэтики Набокова книга — «Другие берега» (в английской версии «Speak, Memory» («Память, говори»)), обозначенная автором как «автобиография»; при этом автобиографические моменты часто встречаются и в беллетристике писателя. Исследование Светланы Гарциано охватывает два периода творчества Набокова, которые частично накладываются друг на друга и которые исследователь обозначает как «биографический период» (1899–1940) и «период творчества» (1925–1967) (с. 14). При этом в поле зрения ученого входят тексты Набокова, написанные по-русски (в том числе поэзия), по-французски, а также англоязычные тексты в оригинале и в переводе на французский язык.

В предисловии к книге Жан-Клод Ланн, профессор Университета Лион 3, директор Центра славянских исследований Андре Лиронделя, характеризует работу Светланы Гарциано как «интеллектуальное здание, внушительное по объему, безукоризненное по выполнению: всем фундаментальным терминам дано предварительное определение, все тезисы, выдвинутые автором, доказаны, все суждения строго логически вытекают друг из друга» (с. 5). С этой характеристикой сложно не согласиться.

Первая часть, «Теоретический и исторический подход к жанру автобиографии. История понятия и современная интерпретация (понятия, определения, традиционные подходы, новые методы)», посвящена трем основным моментам: ключевые понятия и термины, используемые автором в ходе работы; теория жанра автобиографии; традиция жанра — философские и литературные источники в западноевропейской и русской культуре. В первой главе позиционируется тезис о том, что автобиографическая поэтика Набокова сочетает в себе русскую традицию (автобиографии XIX в. и рубежа XIX–XX вв.) и западноевропейскую традицию жанра («Исповедь» Августина Блаженного, «Опыты» Монтеня, «Исповедь» Руссо, «Поэзия и правда: из моей жизни» Гёте и «Замогильные записки» Шатобриана). Этот тезис развивается в следующих частях работы.

Во второй части, «Диахронический подход. Проблема композиции автобиографических произведений Владимира Набокова», изучается история создания двух вариантов автобиографии — русскоязычного («Другие берега») и англо-

язычного («Speak, Memoгу»), в том числе автопереводы, повторы, изменения названия книги, а также особенности мультилингвизма автора.

Центральной частью своей работы автор считает часть третью, посвященную изучению поэтики книги «Другие берега»: «Синхронический подход. Исследование формы и содержания автобиографии “Другие берега”». Здесь автор не только уделяет внимание структуре, тематике и проблематике книги, взаимосвязям между автором, рассказчиком и персонажем, но также применяет лингвистические методы для изучения фонетических, семантических, морфологических и синтаксических аспектов произведения.

Проблема взаимопресечений автобиографических и художественных произведений в творчестве Набокова, в том числе использование фальсифицированных фактов автобиографии, введение воображаемых биографий и автобиографий в ткань художественных произведений, использование автобиографии как автокомментария к процессу творчества изучается в главе четвертой, «Интертекстуальный подход. Автобиография, биография и вымысел в творчестве Владимира Набокова».

Корпусу поэтических текстов писателя посвящена следующая глава, «Поэтический подход. Автобиография и поэзия в творчестве Владимира Набокова», где обосновывается глубокая связь между автобиографическим в прозе и поэзии Набокова, устанавливаются соответствия между трактовкой отдельных тем и образов, а также анализируется образ поэта, лирическое «я» автора в поэзии и прозе писателя.

В шестой главе, «Онтологический подход. Ситуация изгнания в автобиографии и в поэзии Владимира Набокова», Светлана Гарциано выдвигает тезис об особости ситуации Набокова-эмигранта, во многом обусловившей природу его творчества, и исследует «изгнание топографическое, лингвистическое и духовное» (с. 19). Исследователь рассматривает проблему эмиграции через призму полемики Георгия Адамовича и Владислава Ходасевича, в которой активно участвовал Владимир Набоков, сопоставляет его творческую позицию по отношению к ситуации изгнания и западноевропейское видение проблемы на примере творчества Дж. Джойса, сравнивает использование понятий «изгнание» и «эмиграция» в «Других берегах» и в книге «Память, говори», а также в поэзии Набокова.

Особенностям взаимоотношений автора и читателя в автобиографии Набокова посвящена седьмая глава, «Диалогический подход. Читатель автобиографического и поэтического текста Владимира Набокова». В последней, восьмой главе «Сравнительный подход. Сравнение автобиографии “Другие берега” Владимира Набокова с автобиографиями других писателей» исследователь предлагает сопоставить автобиографическую книгу Набокова с тремя автобиографиями русских писателей XX в. — «Шумом времени» Осипа Мандельштама, «Охранной грамотой» Бориса Пастернака и «Младенчеством» Владислава Ходасевича, — выбранными в силу того, что они в определенной степени воплощают три течения в русской литературе первой половины XX в. — акмеизм, футуризм и символизм.



Многоаспектный анализ автобиографии Владимира Набокова позволяет выявить новаторство писателя в контексте традиции автобиографического жанра, его интерес к таким важным для искусства XX в. темам, как взаимосвязь вымысла и реальности; правды, правдоподобия и лжи; взаимодействие пространства и времени, прошлого, настоящего и будущего; новый образ читателя; наконец, тема изгнания, эксплицированная не столько как ситуация эмиграции исторической, но как универсальная, экзистенциальная ситуация человека, чуждого окружающему миру и чужого себе самому.

*С.Н. Дубровина*

---

**Сорокина В.В. Литературная критика русского Берлина 20-х годов  
XX века. — М.: Изд-во Московского ун-та, 2010. — 328 с.**

Самое интересное в этой книге — цитаты. А цитат здесь много — едва ли не две трети от общего объема книги, жанр которой, кстати, даже не обозначен: перед нами — то ли научная монография, то ли учебное пособие для студентов, то ли разбухший от цитат реферат.

Авторский текст по большей части играет роль, как выразился бы Набоков, «межцитатных мостиков» или, если хотите, прокладок между цитатными блоками. Прокладки эти весьма однообразны и почти всегда строятся по схеме «имярек считает / полагает / отмечает, что...». Далее громоздятся цитаты — анализом и интерпретацией цитируемого материала автор себя, как правило, не утруждает: «М.Л. Гофман полагает, что хотя Карамзин...» (с. 57); «Кн. Д. Святополк-Мирский сожалеет, что...» (с. 56); «В статье Е. Ляцкого “Пушкиноведение в России” обращается внимание на то, что...» (с. 62); «А. Изюмов в статье “Пушкин и декабристы” выдвигает мысль о том, что...» (с. 65); «Б. Зайцев считает, что...» (с. 67); «Д. Мережковский печатает свою статью “Федор Михайлович Достоевский”, где отмечает, что...» (с. 74); «Е. Аничков, касаясь вопроса об отсутствии положительного учения у Достоевского, с глубоким отчаянием отмечает, что...» (с. 74); «Ю. Айхенвальд замечает, что...» (с. 74); «Ю. Айхенвальд отметил, что Некрасов...» (с. 88); «Критик отмечает, что...» (с. 88); «Критик полагает, что...» (с. 88); «В выступлении И. Гессена отмечалось, что...» (с. 98); «А. Яценко видит уникальность Толстого в том, что...» (с. 99); «М. Алданов отмечал, что...» (с. 104); «Из учения Толстого Ильин делает вывод, что...» (с. 106).

Примеры взяты лишь из одной главы, «Русская классическая литература в критике русского Берлина», в которой излагается содержание газетно-журнальных статей о русских писателях, от протопопа Аввакума до Чехова. В других главах, во многом повторяющих композицию и содержание четвертого тома «Литературной энциклопедии Русского зарубежья: 1918–1940»<sup>1</sup>, хлипкие «межцитатные мостики» В.В. Сорокиной столь же удручающе однообразны, а цитатные по-

---

<sup>1</sup> Литературная энциклопедия Русского зарубежья: 1918–1940: В 4 т. М., 2006. Т. 4: Всемирная литература и русское зарубежье.

токи низвергаются на читателей столь же бурно: «Вследствие своих рассуждений критик приходит к выводу, что...» (с. 112); «критик вынужден признать, что...» (с. 112); «Н. Ашукин полагает, “чтобы понять и верно оценить то или иное произведение литературы, нужно стать на точку зрения автора...”» (с. 113); «Е. Лундберг пришел к выводу, что...» (с. 113); «М. Слониму представляется совершенно очевидным, что...» (с. 115); «Ф. Иванов отмечает, что...» (с. 118); «А. Толстой в статье “О новой русской литературе” обращает внимание на то, что...» (с. 119); «Критик полагает, что...» (с. 120) и т. д.

Довольствуясь изложением чужих мыслей, В.В. Сорокина так стремительно перепрыгивает от темы к теме, от статьи к статье, так дробно, словно заправский клипмейкер, монтирует цитаты из берлинской периодики 1920-х гг., что у читателей начинает рябить в глазах. Но когда она выбирается из накатанной стилистической колеи — «имярек считает / полагает / отмечает, что...» — и пытается самостоятельно, без цитат и пересказов, сформулировать мысль, получается еще хуже — либо коряво по форме, либо мутно по содержанию, либо... то и другое. Что-нибудь в таком духе: «...литературная *критика* (здесь и далее курсив мой. — Н.М.) зарубежья является также наследницей русской *критики* XIX в. с ее обращением к конкретному читателю и желанием оказывать на него воздействие, формировать общественно-политическую позицию, с необходимостью учитывать и специфику европейской литературной жизни, которая повлияла на повышение интереса *критики* (круг замкнулся. — Н.М.) к психологии и биографии писателей» (с. 8); «Предметом особого внимания Айхенвальда был его собственный литературный стиль, складывающийся из особой организации текста своих очерков, которая постоянно менялась в зависимости от идейного и эмоционального содержания» (с. 32); «Таким образом, пушкиноведение начиная с “берлинского” периода постепенно из строго академического превращалось в общедоступное, изложенное простым и чистым языком...» (с. 68); «И все же главным вниманием берлинской критики была русская литература XIX века» (с. 57); «*Драматическое движение* литературной критики русского зарубежья *становится самостоятельной* (так! — Н.М.) *отраслью* историко-литературного знания» (с. 230); «В Берлине пришлось отказаться от строго научного литературоведения *в вопросах классической литературы*» (ей-богу, так! — Н.М.) (с. 230).

Но стилистические ляпы и опечатки (коих немало) — это полбеда. Куда важнее, на мой взгляд, концептуальный изъян книги. Опорное понятие — «литературная критика русского Берлина» — трактуется в ней предельно (хочется написать — беспредельно) широко. Знакома читателей с литературной критикой русского Берлина, автор щедро цитирует и пересказывает не только критические статьи, литературные обзоры и рецензии, но и мемуарные очерки, некрологи, архивные публикации вроде публикаций писем И.С. Тургенева, «справочно-библиографические сведения» (с. 109), юбилейные заметки, работы по поэтике, стиховедению и текстологии (в частности, статью «Пятистопный ямб Пушкина» Б.В. Томашевского из сборника «Очерки по поэтике Пушкина» (Берлин, 1923) или «скрупулезное исследование» Г.М. Бараца «О составителях “Повести временных лет” и ее источниках, преимущественно еврейских»), а также «репортажи с

юбилеев, хроники праздничных мероприятий и выставок и речи общественных и культурных деятелей диаспоры» (с. 98) — в общем, все мыслимые газетно-журнальные жанры, к критике, строго говоря, не относящиеся.

Мешая в одну кучу публицистику и мемуаристику, литературоведение и литературную критику, В.В. Сорокина размывает базовое понятие и, отклоняясь от заявленной темы, производит подмену: вместо критики ведет речь о печати русского Берлина в целом, без различия жанров и стиливых регистров (а порой и нарушая обозначенные в заглавии пространственно-временные границы).

Весьма показательна здесь вторая глава, «Русская классическая литература в критике русского Берлина». Повествуя о восприятии творческого наследия русских классиков, В.В. Сорокина на одном дыхании цитирует и пересказывает тексты как написанные в 1920-е гг. в Берлине, так и изданные в России до и после революции. Заходит речь о Ф.М. Достоевском — В.В. Сорокина обращается к литературно-философскому этюду Розанова «Легенда о великом инквизиторе Ф.М. Достоевского» (1891) — при этом она каждый раз дает неполное название, отсекая «Ф.М. Достоевского» (с. 72, 76–77), — и к двум дореволюционным работам Льва Шестова: «Добро в учении гр. Толстого и Ф. Ницше» (1900) и «Достоевский и Ницше» (1903); в связи с юбилеем Н.А. Некрасова автор «Литературной критики русского Берлина» не может не процитировать знаменитую анкету Чуковского «Некрасов и мы», опубликованную в петроградской «Летописи дома литераторов», а затем перепечатанную в берлинском «Руле»; среди публикаций о Л.Н. Толстом в одном ряду с «Силуэтами русских писателей» Ю. Айхенвальда упоминаются и цитируются: рецензии Ю. Оффросимова на театральные постановки «Живого трупа» и «Власти тьмы» (пусть и театральная, но все же критика!), «беллетризованный эскиз жизни писателя в Ясной Поляне» А. Дроздова, стихотворение В. Сирина «Толстой», а также опубликованные в русскоязычной берлинской периодике «отзывы западноевропейских писателей и критиков» (с. 103), причем не только немцев, которых хоть как-то можно привязать к русскому Берлину — Г. Гауптмана, С. Цвейга, Т. Манна, — но и французского театроведа А. Пакэ.

Если во второй главе В.В. Сорокина группирует газетно-журнальный материал вокруг русских писателей XVIII–XIX вв. — Радищева, Державина, Карамзина, Жуковского, Грибоедова, Баратынского, Пушкина, Тютчева, Тургенева, Островского (примечательно, что драматург награждается инициалами Н.А. (с. 94)), Достоевского, Толстого, Чехова, — то в четвертой главе, «Западноевропейская литература глазами берлинской критики», «среди разножанрового потока публикаций о западноевропейской литературе» в первую очередь выделяет публикации, посвященные Шекспиру, Лессингу, Гёте, Клейсту, Мериме, Гофману, Байрону, Гейне, Уайльду (которого несколько раз зачем-то величает «Уальдом»), Мопассану, — авторам, которых едва ли можно считать активными действующими лицами литературного процесса 1920-х гг.

По сути, непосредственное отношение к заявленной теме имеет лишь половина четвертой главы, где речь идет о восприятии европейских писателей XX в. (Рильке, Франса, Роллана, Шоу), и третья глава, «Проблемы и темы современного русского литературного процесса в освещении берлинской критики», в кото-

рой не только излагаются и цитируются статьи, посвященные творчеству тех или иных эмигрантских и советских авторов, но и делается робкая попытка проанализировать ряд существенных вопросов, поднимавшихся в берлинской периодике 1920-х гг.: суть и предназначение литературной критики в условиях эмиграции, граница между классикой и современностью, взаимоотношения между двумя потоками русской литературы, между метрополией и эмиграцией. Правда, и здесь В.В. Сорокина верна своей реферативно-цитатной манере и продолжает заваливать читателя глыбами цитат. Порой она пытается высечь из них искры осмысленных выводов, но, увы, как правило, ее умозаключения неубедительны либо просто-напросто звучат банально.

«В Берлине был сделан важный прорыв по включению русской классики в контекст европейской литературы. Переводы на европейские языки и популяризация их творчества (так у автора. — Н.М.) были не только надежным куском хлеба для литераторов, но и возможностью познакомить европейцев с русской литературой и культурой» (с. 231), — утверждает В.В. Сорокина. Но разве не занималась этим же «включением» русская критика на протяжении всего своего существования? И как могли повлиять на европейцев, на их восприятие русской литературы, статьи, появлявшиеся в русскоязычных изданиях Берлина?

И к чему это надуманное противопоставление критики русского Берлина Парижу, которое дается в «Заключении»? По мнению В.В. Сорокиной, «ядро критики в Париже составляла деятельность “толстых” журналов, с их неспешным темпом и внушительной объемностью материала», а «в Берлине центр литературно-критической мысли располагался в ежедневных газетах “Руль” и “Дни»» (с. 230). Да, в Париже, не в пример Берлину, выходило гораздо больше журналов, где были сильные критико-библиографические разделы (взять хотя бы «Современные записки» — самый внушительный и самый долговечный из толстых журналов эмиграции, или эстетские «Числа»), но не меньшую роль играли и газеты, особенно «Возрождение» и «Последние новости»; во второй половине 1930-х гг., когда «толстяки», словно динозавры, стали вымирать, и даже «Современные записки» выходили по два-три номера в год, именно там находились главные литературно-критические площадки зарубежья, где выступали лучшие критики русского Парижа: Г.В. Адамович, В.Ф. Ходасевич, З.Н. Гиппиус, В.В. Вейдле, М.А. Осоргин, Ю.В. Мандельштам.

Отсутствие именного указателя — еще один немаловажный минус этой перенасыщенной именами и цитатами книги, напечатанной «по постановлению редакционно-издательского совета филологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова» — при благодушном попустительстве аж трех рецензентов-профессоров (доктора культурологии и двух докторов филологических наук, чьи имена не называю из присущей мне деликатности). Вместо указателя нам предлагается странный раздел «Персоналии», в котором даются библиографические справки избранным, шибко избранным литераторам, упомянутым в книге (разумеется, без привязок имен к страницам). Справки эти составлены весьма прихотливо: биографические сведения даются выборочно, а некоторые определения так и вовсе бросают в оторопь. Например, отец знаменитого писателя, Владимир

Дмитриевич Набоков, определяется как... энтомолог (!), а уж затем как политический деятель, юрист, публицист (с. 310); русско-немецкий критик, литературовед и переводчик Артур Лютер аттестуется как «бывший профессор Московских женских курсов» (с. 307) и лишается отчества (Федорович).

О хорошо известных авторах вроде Георгия Адамовича, Андрея Белого, Михаила Булгакова или Саши Черного (который в основном тексте именуется то как С. Черный, то как А. Черный) пишется пространно — на полстраницы и даже больше; о малоизвестных же фигурах — гораздо меньше, иногда даже без расшифровки инициалов, без указания дат рождения и смерти, например: «Быков П.В., журналист, сотрудник “Нивы”» (с. 294). О ком идет речь? Скорее всего, о Петре Васильевиче Быкове (1844–1930), поэте, прозаике, историке литературы, библиографе, о котором имеется весьма содержательная статья в словаре «Русские писатели. 1800–1917» (М., 1989. Т. 1. С. 381–382). В пятом томе этого же словаря можно было найти даты рождения и смерти прозаика Н.Н. Русова, а заодно уж узнать, что отец критика Д.П. Святополк-Мирского был не министром просвещения (с. 315), а министром внутренних дел.

Из столь же легкодоступных изданий В.В. Сорокина могла бы почерпнуть информацию о других лицах, обделенных в ее «Персоналиях», хотя бы даты жизни и смерти Августы Филипповны Даманской (1875–1959), Артура Лютера (1876–1955), Бориса Семеновича Оречкина (1888–1943), Евгения Васильевича Спекторского (1875–1951) и «А. Савельева»: для мало-мальски квалифицированного специалиста по литературе русского зарубежья не секрет, что это псевдоним Савелия Григорьевича Шермана (1894 — после 1939), так же как и то, что «Леонид Чацкий» — псевдоним поэта, одного из соучредителей берлинского «Братства Круглого Стола» Леонида Ивановича Страховского (1898–1963).

Честное слово, я не люблю играть в игры «деда-Буквоеда», коими часто изводят авторов придирчивые рецензенты. Однако рецензируемое издание, рассчитанное «на специалистов по истории русского зарубежья, истории критики, студентов-филологов», бьет все мыслимые рекорды по количеству логических неувязок, фактических ошибок и стилистических корявостей.

Не стал бы я рекомендовать студентам-филологам опус В.В. Сорокиной, этот гигантский, неряшливо скроенный центон. Ну, а специалистам по истории русского зарубежья и русской критики, увы, нередко приходится читать и не такое...

*Н.Г. Мельников*

---

**Кибальник С.А. Гайто Газданов и экзистенциальная традиция в русской литературе. — СПб.: Петрополис, 2011. — 412 с.**

Обаяние прозы Гайто Газданова захватывает многих литературоведов, предлагающих различные оригинальные подходы и интерпретации. К творчеству писателя-эмигранта исследователи подходили мелкими шажками — статьями и публикациями, посвященными «отдельным аспектам» его произведений; было издано несколько интересных и полезных газдановедческих коллективных сборников, основанных главным образом на материалах конференций<sup>1</sup>. Сначала в русском переводе появилась книга Л. Диенеша «Гайто Газданов: Жизнь и творчество» (Владикавказ, 1995)<sup>2</sup>, и только в последнее десятилетие творчество писателя стало предметом монографического рассмотрения в отечественном литературоведении (труды Ю.В. Матвеевой, С.М. Кабалоти, Е.Н. Проскуриной, Е.В. Кузнецовой и др.); вышла — чрезвычайно жаль, что в серии ЖЗЛ, а не в собственно научном формате в сопровождении справочно-библиографического аппарата — биография «Газданов» О.М. Орловой (М., 2003). Перечень работ о феномене газдановской прозы быстро умножается в последнее время; на сайте «Новая русская литература: виртуальная исследовательская лаборатория» в разделе «Гайто Газданов и “незамеченное поколение”»<sup>3</sup> выложено несколько десятков работ современных российских литературоведов — существенно меньше, чем цитируется или упоминается в новой книге Сергея Акимовича Кибальника<sup>4</sup>.

Исследователи прежде всего стремятся найти ключ к поэтике Газданова, причем активно привлекают к ее изучению самые разные литературные традиции,

---

<sup>1</sup> См.: Возвращение Гайто Газданова: Науч. конф., посвящ. 95-летию со дня рождения, 4–5 дек. 1998 г. / Сост. М.А. Васильева и др. М., 2000; Гайто Газданов и «незамеченное поколение»: писатель на пересечении традиций и культур: Сб. науч. тр. / Сост. Т.Н. Красавченко, М.А. Васильева, Ф.Х. Хаданова. М., 2005; Гайто Газданов в контексте русской и западноевропейских литератур. М., 2008.

<sup>2</sup> По-английски первое монографическое исследование о писателе вышло тридцать лет назад: *Dienes L. Russian literature in exile: The life and work of Gajto Gazdanov.* München, 1982.

<sup>3</sup> <http://www.newruslit.ru/literaturexx/gazdanov>.

<sup>4</sup> Далее ссылки на рецензируемое издание приводятся в тексте с указанием в скобках страницы.

русские и европейские. Обратившись к загадочному и чудесному миру газдановской прозы, С.А. Кибальник раздвигает порядочно пропылившиеся кулисы реализма и модернизма и предоставляет сцену русской «экзистенциальной традиции». Осторожность в терминах более чем необходима: «экзистенциальное сознание», «экзистенциальная мысль», «экзистенциальные мотивы», широко и успешно выявляемые у самых разных авторов разных стран и эпох, заставляют всерьез задуматься об *экзистенциализме без берегов* и известной тенденции подвести под него «едва ли не всю художественную литературу» (с. 13). Автор нового исследования о Газданове как будто хорошо понимает «соблазны», таящиеся в расширительном истолковании «русского экзистенциализма» (с. 15), к которому уже принято относить прозаиков-младоземigrants — наряду с изучаемым автором также Б.Ю. Поплавского, В.С. Яновского, В.В. Набокова. Творчеству последнего, кстати, неожиданно приписан «более оптимистический и жизнеутверждающий характер», чем демонстрирует западноевропейский экзистенциализм (с. 15), и это утверждение на первых страницах монографии заставляет настроиться по крайней мере на небанальное восприятие знакомых текстов.

Теоретические замечания первой («вводной») главы предвворяют чрезвычайно насыщенный многообразный анализ прозы Газданова, развернутый в следующих одиннадцати главах. Всего глав 12, но это символическое число «не выстреливает» — Евангелие, в отличие от «Одиссеи» Гомера и истории Будды, к интертекстуальному поиску особенностей русского экзистенциализма не привлечено. Не переписывая обстоятельное «Содержание», — оно занимает четыре страницы, — перечислим имена тех писателей и философов, чье экзистенциальное сознание (или только его предчувствие) и чьи сочинения безотносительно к каким бы то ни было намекам на экзистенциализм оплодотворили, по мнению исследователя, газдановскую прозу: Толстой и Достоевский, Пруст и Джойс, Шестов и Розанов, Тургенев и Чехов, По, Стивенсон, Камю, Бердяев и Ницше, Набоков и Селин...

Жесткая конструкция книги обусловлена желанием автора поместить философско-художественные параллели и пересечения Газданова с каждым из его русских и зарубежных предшественников и современников в отдельные разделы. Но разграничения не всегда удаются, и в тексте глав нередки отсылки к другим разделам и параграфам книги. Может быть, именно принцип («Газданов и ...») в подобной работе — не самый оправданный способ организации материала и стоило монографически разбирать произведения писателя, обнаруживая все многообразие их «источников»? Вероятно, сказалось то обстоятельство, что главы книги первоначально были разработаны как узкие сюжеты — ровно тридцать работ приведено в личной «газдановиане» С. Кибальника (с. 397–399), и было проще механически соединить их в единый текст. Во всяком случае, единство изложения — не самое сильное место в книге, которая мало напоминает французский парк, но больше похожа на живописные парки Фрикантрии, с запутанными дорожками и переплетенными ветвями. Скорее это плодоносный сад: так много в книге тонких наблюдений, свежих идей, смелых сопоставлений и неожиданных сближений.



«Газданов не только не скрывает явной литературности своего творчества, но, напротив, придает ей демонстративный характер, потому что, во-первых... <...> не столько воспроизводит, сколько полемически трансформирует — нередко с точностью до наоборот — сюжетные ситуации и характеры героев произведений русской классики XIX века. Во-вторых, при этом писатель преследует цель показать неудовлетворенность для современности, несмотря на все богатство изображенных в ней характеров и обстоятельств, тех художественных решений, к которым приходили авторы» (с. 136). Собственно, в этом и состояла цель исследования — раскрыть «литературность» прозы Газданова и дать истолкование принятым им художественным трансформациям классики и литературы нового времени. В подобном подходе нет заранее заданных схем, они основаны на интуиции и филологической культуре исследователя. Последнее особенно отрадно в отношении к «истории вопроса»; в подстрочных комментариях не просто приведены библиографические отсылки — автор книги находится в непрерывном продуктивном диалоге со своими коллегами по газдановедению, опирается на высказанные ими положения, спорит с необидительными тезисами, выдвигает контраргументы, углубляет или опровергает многие уже предложенные трактовки.

Нет смысла останавливаться на каждом конкретном разделе. Заметим лишь, что, на наш взгляд, выявление «экзистенциальной традиции» и у Газданова, и у его предшественников — не самое главное среди достижений книги. Она сильна не теорией — хотя теоретические основания, на которых она покоится, шаткими не назовешь, трудов по теории литературы и эстетике проштудировано немало. Главное в итоговом труде С.А. Кибальника о Газданове — исследование того, как во взаимодействии с различными традициями, а не только с экзистенциальной, в ориентации на них, в их критическом переосмыслении, преодолении и трансформации рождалась и складывалась индивидуальная поэтика одного из самых притягательных писателей русского послереволюционного зарубежья.

Любое исследование поэтики неизбежно дышит волюнтаризмом и субъективизмом, что-то поражает глубоко верным проникновением в суть произведения, а что-то представляется натяжкой, недоказуемой догадкой. Примером последнего, как нам кажется, является несколько поверхностное сопоставление «Вечера у Клэр» с автобиографической трилогией Л.Н. Толстого. Таково и объяснение имени главного героя (с. 29), и слишком прямолинейные параллели, состоящие в выписках из сходных контекстов Толстого и Газданова дословно совпадающих или парафрастических отрывков. Приведем один пример из множества подобных. Довольно убедительно разбирая творческое претворение Газдановым «человека на войне» — художественного открытия молодого Толстого, С.А. Кибальник находит «аналогичные» толстовским ремарки там, где они могли бы оказаться только в случае изощренной игры. И Толстой, и Газданов — в отличие от Шолохова, например, с детства знающего южнорусский диалект, — усваивают на Кавказе новые для них слова и поясняют для читателя, в частности, что такое *балка* — «на кавказском наречии» (Толстой), на «кавказско-русском языке» (Газданов). Но если бы Газданов сознательно ориентировался на нарратив Толстого, зачем бы ему было еще раз объяснять уже объясненное? Кажется более вероятным, что здесь

Газданов совершает собственное открытие «человека на войне», движется сходным художественным путем — что, кстати, никак не обедняет ни его прозы, ни наблюдений С.А. Кибальника; просто из разряда интертекстуальных сближений подобные совпадения следовало бы перевести в разряд типологических.

Расширение экзистенциальной традиции не вызывает особых возражений — это вечный камень преткновения в истории литературы: узкое (ограниченное определенной эпохой и кругом писателей) и предельно свободное (с выявлением известных черт и особенностей в литературе разных стран и времен) толкование того или иного *метода*, романтизма, реализма или экзистенциализма. То, что, максимально сконцентрировавшись и оформившись, проявляется в чистом виде однажды, всегда существует в виде тенденций, направлений, предчувствий в словесной культуре. Чем насыщеннее собственный культурный опыт писателя, чем интенсивнее процесс его культурной самоидентификации, тем глубже и богаче потенциал смыслов, вскрываемых им в чужих произведениях для построения собственной художественной системы. Так, замечает исследователь, восприятие Гоголя накладывалось у Газданова на знакомство с работами Шестова и Розанова о личности и творчестве писателя, что вскрывает не экзистенциальность гоголевского сознания, а «присутствие элементов экзистенциального отношения к миру в самом Газданове» (с. 111).

«Все, чем писатель восхищается, он хочет “присвоить”», — справедливо утверждает автор монографии (с. 100). Это творческое присвоение, ведущее к созданию нового художественного текста, напрягает знания и интуицию исследователя, стремящегося к раскрытию его многозначности, многослойности. Книга С.А. Кибальника выявляет, кстати, очевидное несоответствие между интереснейшими явлениями литературы, давно привлекающими к себе внимание исследователей, — такими, как пути и характер творческого освоения *чужих* текстов, — и понятийным аппаратом, созданным специалистами по интертекстуальному анализу для описания феноменологии взаимопроницаемости художественных текстов. Язык интертекстуального анализа огрубляет и даже искажает процесс обращения писателя — мы даже редко можем знать, сознательно или бессознательно это происходит, — к художественному опыту предшественников и современников. Если и выражение «претекст» кажется прямолинейным и неточным описанием того полусознанного импульса, которым отзывается в писателе чужой текст и настойчиво влечет к его *переписыванию*, то заимствованный из палеографии термин «палимпсест» представляется просто неудачным для описания совсем не схожего явления, ничего общего не имеющего с механическим написанием нового текста по затертому пергамену.

А между тем, воспользовавшись этим малоудачным термином («палимпсесты Достоевского», «палимпсесты Тургенева»), С.А. Кибальник в пятой и шестой главах увлеченно и доказательно демонстрирует, как, ориентируясь на классические образцы, переосмысливая их в иной исторической, социокультурной, собственно литературной ситуации, Гайто Газданов создает пропитанные аллюзиями на знакомые образы, реминисценциями узнаваемых сюжетных ходов, порой почти откровенно цитатные произведения, в которых «отразился век и современный

человек изображен довольно верно»: но какой век и какой человек — русский эмигрант, затерянный в Европе, стремительно несущейся от одной мировой войны к другой. Мы не будем лишать читателя удовольствия и пересказывать, как, в результате филологического (порой феерического) анализа, раскрывается полемическая трансформация русской классики Газдановым, подвергаются ревизии ее художественные решения и преодолевается самодостаточность ее идеологием, как выявляется новизна в выражении собственного понимания свободы, правды, любви прозаиком-эмигрантом.

Пожалуй, к самым убедительным страницам монографии относится интертекстуальное прочтение «Полета». «Интертекстуальная поэтика русской литературы XIX века, на которую Газданов наверняка обращал внимание, была для него скорее постоянным ориентиром при создании его собственных метатекстов русской классики» (с. 189), — замечает исследователь на удобном для него понятийном языке и рассматривает, как и что вышивает Газданов по старой канве, если канвой этой становятся «Дворянское гнездо» и, в меньшей степени, «Первая любовь» Тургенева.

Дополним доказательно проведенные Кибальником параллели еще одной, ускользнувшей от его внимания. В романе Газданова «Повет» есть один эпизодический персонаж: подобно Лемму в «Дворянском гнезде», мыкающийся на Лазурном Берегу Егоркин — бедный, кое-как перебивающийся эмигрант, самодеятельный художник. Согласно С.А. Кибальнику Газданов с парадоксальной ироничностью переосмысляет и кардинально меняет и сущность, и судьбы тургеневских героев; но точно так же и Егоркин кардинально отличается от своего несчастливого собрата по искусству. Во-первых, он не «въехал» в чужую Россию, а «выехал» из родной страны; во-вторых, вдохновенные сочинения учителя музыки Лемма остались в забвении, тогда как кичевые полотна Егоркина расходятся благодаря равнодушному меценатству его более удачливых компатриотов по всему миру. В-третьих, если кантата Лемма, посвященная Лизе Калитиной, носила название «Только праведные правы», а в финале поющие молили Господа отогнать «всякие лукавые мысли и земные надежды», то, напротив, газдановский герой создает недвусмысленно эротические и разухабистые трафаретные картинки в стиле а ля рюс. Впрочем, главная тема кантаты Лемма прошла лейтмотивом по всему роману и трагическим рiано зазвучала в финале; боимся предположить, какой отсвет на любовные похождения героев Газданова ложится от полуобнаженной веселой дамочки, летящей на тройке («куда несешься ты?!») на картинках Егоркина. Между тем фигура этого эпизодического лица, его судьба и «творчество» только подтверждают ту художественную логику радикального переосмысления тургеневского романа, которую тонко подметил С.А. Кибальник в «Полете» Газданова.

Выскажем еще несколько соображений, вызванных научной книгой, лишенной формализма в анализе и категоричности в выводах, а потому плодотворной для дальнейших размышлений как над поставленными автором проблемами, так и над многими сопредельными, касающимися поэтик других писателей, прежде всего русского зарубежья. Сам автор монографии — порой в подстрочных комментариях (с. 243), порой в быстро проговариваемых выводах (с. 200) — сетует на

невьявленность, нерассмотренность, неисследованность тех или иных интертекстуальных связей. И в этом смысле, пожалуй, самым недоговоренным и самым перспективным сюжетом остается топика газдановского Парижа, укорененная, как аргументированно показывает Кибальник при разборе «Ночных дорог», прежде всего в «Записках из мертвого дома» Достоевского (с. 166–196). В частности, вовсе не в примечаниях, а в основном тексте монографии стоило бы эксплицировать чрезвычайно важное утверждение: «Русские противопоставлены здесь (в “Ночных дорогах”. — Т.М.) французам совершенно аналогичным образом с тем, как народ в “Записках...” Достоевского противопоставлен дворянам» (с. 172).

Увлечшись одним каким-либо сопоставлением, С.А. Кибальник подчас пренебрегает другим, на которое произведение Газданова также очевидно провоцирует. Так, образы периферийных персонажей «Полета» — писателей — рассмотрены только в связи с фигурой Кармазинова, известной пародией Достоевского на Тургенева («Бесы»). Но в книге самого Кибальника достаточно красноречивых примеров того, как современники Газданова — будь то Джойс, портретом которого открывается «Вечер у Клэр» (что становится объектом блестящего реального и филологического комментария, с. 69–72), или Набоков-Сиринов (взаимным уколам двух ярчайших представителей поколения, которое уже благодаря их прозе с трудом поддается определению «незамеченное», посвящена глава 8) — свободно входят в художественный дискурс прозы писателя. Следя за поисками «кармазиновского» следа в «Полете», невольно узнаешь в цитатах из романа писателя, гораздо более близкого Газданову по месту и времени — М.А. Алданова, «полного и мягкого человека», плодовитого беллетриста, скептика и пессимиста, пишущего «одним и тем же интеллигентски адвокатским языком» (подобных выразительных примеров из газдановского романа, прозрачно намекающих именно на портрет и стиль Алданова, на с. 138–145 достаточно). Вернемся к уже высказанному упреку: если бы произведения Газданова разбирались монографически и их интертекстуальные связи и ориентации вскрывались слой за слоем (раз уж это *палимпсесты!*), то в построениях Кибальника оказалось бы меньше схематизма и перекрестных отсылок от главы к главе, а романы Газданова высветились бы еще многограннее, сложнее и глубже.

Конечно, привлечение к анализу поэтики Г. Газданова отдельных сочинений По, Стивенсона, Джойса, Камю не только ведет к более объемному восприятию культурологически и философски насыщенных текстов русского писателя, но еще и обнаруживает колоссальную роль (само)образования в творчестве эмигрантов, прежде всего младшего поколения, почти отсутствующую в произведениях их советских собратьев по перу. Рецептивная эстетика, как со всей очевидностью явствует из рецензируемой книги, имела в творчестве писателей русского зарубежья громадное значение, идет ли речь о восприятии русской классики или древней и новой зарубежной литературы. Иногда, впрочем, сближения «дальние» так увлекают исследователя, что лежащие на поверхности аллюзии на современную русскую литературу, почерпнутые буквально из свежих томов эмигрантских журналов, остаются нераскрытыми. Так, обратившись к одной параллели между «Призраком Александра Вольфа» и «Посторонним» А. Камю, Кибальник раз-

бирает, как по-иному, почти противоположным образом, осмысливается русским автором образ солнца, солнечного света. Исследователь указывает, что в устах одного из героев (кстати, «гуляки») «солнце оказывается метафорой женщины» (с. 224). Роман был издан в 1947 г., а бунинская «Ида», которой вся эмиграция зачитывалась с наслаждением, а вовсе не из пиетета к «мэтру», появилась двумя десятилетиями раньше. Финал этого рассказа — восклицание героя-рассказчика, одного из компании праздных гуляк, на морозном рассвете — «Солнце мое! Возлюбленная моя! Ура!» — прозрачно корреспондирует с газдановским: «Что такое северная женщина? Отблеск солнца на льду». Это, конечно, еще и скрытая полемика с бунинским сюжетом — признанием в любви, в котором смешалась метель, снега, полустанок, Татьяна Ларина, Анна Каренина и громадная сдержанность чувств, соположенная силе самой любви. Газдановский конек — долгий процесс пробуждения и развития чувства, бунинские мгновенные и чаще всего гибельные «вспышки» ему чужды и подталкивают к скрытой полемике.

Впрочем, Бунин, чья личность и творчество отдаются на страницах книги едва слышным эхом, вспоминается не раз — и это возможность еще одного перспективного пути исследования поэтики Газданова (и Бунина, разумеется, тоже). Монография С.А. Кибальника как раз и служит весомым аргументом в пользу дальнейшего сопоставительного, интертекстуального анализа прозы русского зарубежья, в которой индивидуальные поэтики складывались в сложном поиске культурной идентичности — как национальной, русской, так и европейской (о «транскультурной поэтике» Газданова речь заходит на протяжении всей книги, но специально ей посвящена также глава 11). Взаимовлияние писателей русского зарубежья шло непрерывно, и единственное предложенное в этом направлении сопоставление — Газданов и Набоков — воспринимается лишь как постановка более общей проблемы.

Бунин при этом — знаковое имя, писатели младшего поколения стремились уйти из-под влияния его прозы, с ее мучительным совершенством стиля, богатством живого языка, галлюцинативной точностью в воссоздании утраченной России. Об «Истории одного путешествия» Газданова (впервые напечатано в «Современных записках», 1934–1935, тт. 56 и 58) Кибальник замечает, что в романе «присутствует анализ собственного творчества» (с. 236). Приведенная же цитата кажется едва ли не комментарием к «Жизни Арсеньева» Бунина, к этому времени почти целиком опубликованной (без последней книги, «Лица»): «В роман входило все или почти все, о чем думал Володя, — исправленные и представленные не так, как они были, а как ему хотелось бы, чтобы они произошли, — многие события в его жизни...» Именно в этом и состояло своеобразие бунинского квазиромана — «вымышленной автобиографии» (В. Ходасевич). Согласно С.А. Кибальнику Газданов, через своего героя, был не удовлетворен подобным методом, а Набоков, движущийся в том же русле, «сознательно переписывает многие... существенные элементы» газдановского романа в «Подлинной жизни Себастиана Найта» (с. 237). И все бы хорошо в этом утверждении, если бы «претекстом» для обоих молодых прозаиков не была бунинская «Жизнь Арсеньева», и притягательная, и отталкивающая своим мастерством, казавшимся и безнадежно архаичным, и фа-

тально недостижимым. От магнетического воздействия поэтики и стиля Бунина следовало освободиться во что бы то ни стало — и это было общим чувством литераторов «незамеченного поколения».

Мимоходом заметив, что «маска прикрытия» повествователя в «Вечере у Клэр» сходна с «маской Бунина» в «Жизни Арсеньева», исследователь напоминает, что бунинский роман был издан почти в то же время, «но мог быть знаком Газданову по публиковавшимся ранее фрагментам» (с. 281). Логика сюжета в этом романе Газданова представляется Кибальнику «прямо противоположной логике Бунина» (с. 283). Полагая, что те газдановеды, которые видят элементы сходства газдановской прозы с бунинской, ведут речь о «близости довольно абстрактного толка», Кибальник делится несколько загадочным соображением о романе Бунина: «Все проблемы, которыми живет Арсеньев, это проблемы внешние...» (точно это герой авантюрного романа и роман написан исключительно о его похождениях!), — что в корне будто бы отличается от газдановского психологизма (с. 283). Конечно, «Жизнь Арсеньева» печаталась одновременно с работой Газданова над «Вечером у Клэр». Однако, рассуждая о «ветрености и любвеобильности» бунинского героя (это две-три юношеских-то влюбленности?!), ставших причиной «смерти возлюбленной» (от воспаления легких!), исследователь упускает из виду, что последняя, пятая книга автобиографического романа Бунина, озаглавленная в печати «Лица», появилась только в 1939 г., и в смерти героини отозвалась и главная метафизическая тема романа, утрата России, и личные мотивы — разрыв с Г.Н. Кузнецовой. *Бунин* — пропущенный раздел в книге, автор которой временами и сам это ощущает — когда, например говоря о буддийской составляющей прозы Газданова, задумывается о влиянии «отчасти, возможно, Бунина» (с. 287).

Ускользание Газданова от бунинских красот слога и бунинской ориентации на русскую классику очевидно даже тогда, когда в книге и помину о Буине нет. Старшие и младшие идут своим путем, в том числе и в опоре на национальную литературную традицию, на ее творческое преображение. Вот пример: исследование «трансформации тургеневской повести» «Первая любовь» в творческом сознании Газданова приводит Кибальника к признанию полемичности, а порой и ироничности автора «Полета» по отношению к шедевру Тургенева, к воспеваемым в ней чувствам и иллюзиям молодости. Ключевой фразой к переосмыслению тургеневского «романтического мотива» (с. 130) становится финальная реплика героя-рассказчика («И теперь, когда уже на жизнь мою начинают набегать вечерние тени, что у меня осталось более свежего, более дорогого, чем воспоминания о той быстро пролетевшей, утренней грозе?»), Газданов меняет ракурс изображения, сдвигает смыслы, почти противопоставляя свое видение тургеневскому и даже слегка травестируя его. Та же тургеневская мысль подхвачена и развернута в финале «Холодной осени» Бунина, одного из самых пронзительных рассказов цикла «Темные аллеи»: «Но, вспоминая все то, что я пережила с тех пор, всегда спрашиваю себя: да, а что же все-таки было в моей жизни? И отвечаю себе: только тот холодный осенний вечер. Ужели он был когда-то? Все-таки был. И это все, что было в моей жизни, — остальное ненужный сон». И это разительное несходство в обращении с классическим наследием действительно подтверждает, насколько

модернист Бунин был ближе к реализму и как далеко ушел от русской романной традиции по экзистенциальным путям Газданов.

Книга С.А. Кибальника — это не разговор о застывшей в совершенных формах классике, а складывающаяся буквально на наших глазах отрасль истории литературы, газдановедение. Что-то из предложенных исследователем трактовок обретет со временем достоинство непреложных истин, что-то будет отринуто как неизбежные крайности, искусственные построения, которые мешают цельности общей интерпретации. Таково, как нам представляется, излишнее увлечение автора монографии «звуковой близостью имен» (с. 181). Натяжки иногда так очевидны и так необязательны в общем ходе стройного и полноценного анализа (ср. «анаграмматическую аллюзию» на имя Газданова в русском авторском переводе «Лолиты» Набокова, с. 273), что невольно навевают приснопамятное минаевское: «У меня герой в чачотке — / У него портрет того же. / У меня Елена имя — / У него Елена тоже...» Напротив, осторожный, образный язык литературоведческого анализа вызывает гораздо больше доверия, например: «Мифологическая подсветка персонажей носит <...> довольно сложный, полигенетический характер» (с. 78), «образы различной мифологической природы как бы перетекают друг в друга» (с. 81, об аллюзиях и ассоциациях с «Одиссеей» через посредство «Улисса» Джойса в романе «Вечер у Клэр»).

Выбрав особый ракурс во взгляде на писателя и погрузив его творчество в насыщенный контекст русской (по преимуществу) и зарубежной литературы, С.А. Кибальник не только не лишил газдановскую прозу ее чарующей магии, но выявил прежде неведомые грани самостоятельного, оригинального дара писателя, полностью сформировавшегося и развернувшегося в эмиграции. Монография С.А. Кибальника — не последнее слово в развивающемся газдановедении, но необходимый и необратимый шаг в изучении прозы Гайто Газданова и — куда шире — *русского экзистенциализма*.

Т.В. Марченко

---

**Воспоминания. Дневники. Беседы: (Русская эмиграция в Чехословакии). Кн. 1** / Сост., [предисл.] и общ. ред. Л. Белошевской; коллектив авторов; АН ЧСР; Славянский ин-т. — Прага: [Б. и.], 2011. — 672 с. [в аннот. карточке ошибочно 504 с.] : ил. — (Труды Славянского института АН ЧСР, Новая серия, вып. 31). — [На русском и чешском языках.] = *Vzpomínky. Deníky. Vyprávění: (Ruská emigrace v Československu). Sv. 1 / Kolektiv autorů pod vedením L. Běloševské; Akademie věd České republiky; Slovanský ústav. — Praha: [S. n.], 2011. — 672 s. — (Práce Slovanského ústavu AV ČR. Nová řada; sv. 31).* — [Část český text.]

Основу настоящего издания, выходящего в серии трудов Славянского института Академии наук Чешской Республики и подготовленного коллективом авторов под руководством Л. Белошевской, составили так называемые автодокументальные или автокоммуникативные тексты, представленные мемуарами, дневниками, а также устными воспоминаниями представителей русского зарубежья разных поколений, живших и работавших на территории бывшей Чехословакии между двумя мировыми войнами: Константина Александровича Чхеидзе, Элеоноры (Норы) Мусатовой, Никодима Павловича Кондакова, Валентина Федоровича Булгакова, Екатерины Александровны Максимович (Кизеветтер), Дмитрия Сергеевича Гессена, Ирины Владимировны Рафальской.

Сборник состоит из предисловия и трех разделов, снабжен аннотированным указателем имен, указателем организаций и учреждений, уникальным реестром объектов историко-культурной и бытовой среды эмиграции в ЧСР. Каждый раздел сопровождается вводной частью и комментариями. В научный аппарат издания также включены список условных сокращений и перечень архивов, материалы которых использовались для подготовки комментариев и аннотированного указателя имен.

Определяя значимость исторических источников личного происхождения, Любовь Белошевская указывает в предисловии, что изучение, в частности, мемуарного наследия зарубежной России позволяет более объемно воссоздать общий контекст духовной и повседневной жизни русской послереволюционной диаспоры. Значительной документальной, исторической и языковой ценностью, под-



черкивает исследовательница, обладают включенные в состав издания устные свидетельства. Интенсивно развивающаяся со второй половины XX в. как самостоятельная область исторической науки, устная история (oral history) использует метод воссоздания истории «на основе бесед, содержащих ретроспективную информацию о событиях и лицах» (с. 10). Л. Белошевская отмечает, что первый шаг в обращении к методу «истории рассказчика» в изучении истории и культуры русского зарубежья сделали финские ученые Наталия Башмакофф и Мария Лейнонен. При использовании данного метода исследователь «становясь на сторону рассказчика» (информанта), зафиксировавшего «в памяти ход истории со своей точки зрения», предоставляет ему «первое слово в истолковании хода событий, захватывающих “некий личный участок истории”. Из множества личных участков возникает коллективный рассказ» (с. 11).

В первом разделе, «Воспоминания», публикуется отрывок из воспоминаний писателя, публициста, литературного критика К.А. Чхеидзе «События, встречи, мысли», написанных им в 1967–1971 гг. по заказу Литературного фонда Союза чешских писателей, и мемуары художницы-живописца, графика, иллюстратора Н. Мусатовой «Григорий Мусатов. (Воспоминания о моем отце)». Из книги К.А. Чхеидзе для публикации взята VIII глава, в которой отражен «пражский и парижский период жизни» Константина Александровича, охватывающий практически всю историю евразийского движения, к которому он примыкал. Проиллюстрирована позиция К.А. Чхеидзе по отношению к означенному движению, к «проблеме столкновения поколений в эмиграции, особенно острой в самом евразийстве» (с. 106). В воспоминаниях Н. Мусатовой отражена «пражская глава» (с. 233) жизни ее семьи, при этом главным образом она рассказывает о своем отце — художнике-живописце, графике, иллюстраторе романов Ф.М. Достоевского Григории Алексеевиче Мусатове, оказавшем сильное влияние на ее творчество.

Во втором разделе, «Дневники», представлены фрагменты «Дневников 1922–1923 гг.» академика Н.П. Кондакова и фрагменты дневника В.Ф. Булгакова «Отрывки из записей о русских и чехах. (“Осколки России” I)». Фрагменты из дневников Н.П. Кондакова публикуются впервые и представляют собой важный материал, позволяющий реконструировать последние годы жизни и деятельности ученого. В этот период он вступил в должность экстраординарного профессора в Карловом университете, стал первым председателем Русского института в Праге, читал курс индивидуальных лекций по истории культуры дочери президента Чехословакии Т.Г. Масарика Алисе, заканчивал свой последний фундаментальный научный труд «Русская икона». Текст писателя, драматурга, мемуариста и библиографа В.Ф. Булгакова также публикуется впервые. Он охватывает период с 1925 по 1939 г. Авторы публикации допускают, что представляемый в сборнике материал являет собой первоначальный этап в написании более полной версии рукописи автобиографической прозы «Как прожита жизнь», которую Валентин Федорович закончил в 1961 г.

Третий раздел, «Из бесед с русскими эмигрантами», представлен текстами устных свидетельств Е.А. Максимович (Кизеветтер), Д.С. Гессена, И.В. Рафальской,

переведенных с магнитофонной записи в письменную форму. Беседа с юристом и педагогом Е.А. Максимович, дочерью А.А. Кизеветтера, записана Л. Белошевой в 1989–1990 гг. в Праге. Екатерина Александровна рассказывает о своих первых впечатлениях о жизни в Праге, встречах с П.И. Новгородцевым, П.Б. Струве, Н.О. Лосским, С.Н. Булгаковым и их семьями, о дружбе отца с В.И. Вернадским. Упоминает о приеме русских эмигрантов президентом Т.Г. Масариком и встрече с его дочерью Алисой. Вспоминает о своем и своего отца отношении к «Збраславским пятницам», о посещении сестрой Русского теософического кружка в Праге.

Записи бесед с журналистом, переводчиком, лексикографом Д.С. Гессеном, сыном С.И. Гессена, производились Л. Белошевой в октябре 1998 г. и в мае 2000 г. в Варшаве. Дмитрий Сергеевич вспоминает о своем отце, подчеркивая, что он был горячим патриотом России. Делится впечатлениями от встреч с В.В. Набоковым, рассказывает о первом сезоне, проведенном в Чехии в поселке Вшеноры, характеризует П.Н. Савицкого, упоминает об ученых Б.В. Яковенко, И.И. Лапшине, Н.Е. Осипове.

Беседы с переводчицей И.В. Рафальской, дочерью В.Т. и М.Д. Рафальских, проведены и записаны Л. Белошевой в сентябре 1998 г. и в мае 2000 г. в Праге. Ирина Владимировна повествует о годах своей учебы в Объединенной русской гимназии в Праге, упоминает о владыке Сергии (Аркадий Дмитриевич Королев), о той чудесной атмосфере, которую создавал вокруг себя этот человек. Рассказывая о своем отце, Владимире Трифильевиче Рафальском, русском дипломате, который и после завершения дипломатической карьеры оставался «дипломатом по совести», Ирина Владимировна называет его покровителем и духовным отцом молодежи, поскольку он принимал активное участие в судьбе русских беженцев, ходатайствуя за них перед официальными инстанциями, стоял у истоков создания Русского юридического факультета.

*Н.А. Ёхина*